

## Сталинизм как антипод Ленинизма

(из статьи в ж. «Октябрь», 1989 г.)

**Вопрос о Ленине должен быть поставлен и решен заново**

Что значит «заново»? И почему «заново»?

«Заново» не означает простого переверачивания прошлых оценок: где был плюс, ставить минус — и дело с концом. «Заново» означает генеральную перепроверку всех прежних оценок, всех постановок вопросов, всех идей и цитат, всех выводов. Никаких аксиом, никаких «истин, не требующих доказательства», никаких принимаемых на веру положений!

Речь, конечно, вовсе не идет о том, чтобы напрочь игнорировать все, что писалось на эти темы в прошлом — там наряду с хламом и ложью встречались и плодотворные подходы, интересные оценки, а подчас (в редких, конечно, случаях) и просто прозрения. И их надо, разумеется, учесть. Но сводить сегодня дело лишь к «уточнению» и развитию прежних оценок путем скрупулезного отделения «верного» в них от «неверного» значило бы обрекать себя на неудачу. Правда и вымысел, ложь и истина переплелись в общественном сознании как змеи весной: голова истины переходит в хвост лжи — попробуй раздели их. Да и потом, истина — это же не сумма отдельных верных утверждений, а система идей (определенным образом взаимосвязанных и развивающихся). А ведь даже сравнительно верные идеи укладывались общественным (и в особенности массовым, обыденным) сознанием в ложную в своей основе канву: «Сталин — это Ленин сегодня», или что то же самое: «Ленин — это Сталин вчера». (Брежневский «Ленинский курс» был в целом наследником сталинской методологии.) «Заново» и означает порушить эту привычную канву, сломать эти (и любые другие априорные) рамки.

В прежнем общественном сознании Ленин представал как мыслитель неразвивающийся, неизменяющийся, непогрешимый, как единственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую

теорию, как деятель, который не имел ни достойных соратников (ну, кроме, конечно, Иосифа Виссарионовича), ни серьезных и умных оппонентов. «Заново» означает сломать и эту методологическую традицию. Короче, «заново» означает — произвести перепроверку, руководствуясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса: «Все подвергай сомнению!»

И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми ее робкими попытками (в конце 50-х годов), убитыми цензурой, теперь пришла пора серьезных научных статей. И уже не в скромных дневниковых заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с многомиллионными тиражами зазвучало:

Неверно видеть главную причину наших социальных деформаций в каких-то специфических взглядах, специфических теоретических построениях Сталина. Зачем обманывать себя, мифологизируя Сталина и его дело? Копать надо глубже. Критический анализ должен обратиться к «нашим теоретическим основам», «исходным проектам», дабы выяснить «доктринальные причины деформации». Там, в «основах», «доктринах» мы найдем истоки страшной болезни. Ведь то, что писал Сталин, в общем «никогда не противоречило марксизму», в его «работах и лозунгах» «трудно найти несогласованность с привычными хрестоматийными представлениями о марксизме, да и текстами Маркса». Он «строил социализм в соответствии с предначертаниями теории, пытался, как мог, ускорить движение России к коммунизму, начатое (Лениным) в Октябре 1917 года».

А «отклонения» Сталина от марксизма носили второстепенный характер и сводились, по сути, к трем следующим моментам: 1) низведение простых людей до «функции винтиков»; 2) представление о партии как «ордене меченосцев»; 3) идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы (то есть возрастание остронасильственных методов решения социально-политических задач).

Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно смелой (не спорю!) и удивительно глубокой (оспариваю категорически!). Давайте разбираться.

Прежде всего — об этих «малозначащих», «второстепенных» «отклонениях». «Человек-винтик» — да какая же это «второстепенность», это же целая социальная концепция, прямо, контрастно, антагонистически противоположная пониманию социализма Марксом, Энгельсом и Лениным. Для классиков марксизма суть, смысл, главные цели социализма как раз были связаны с тем, чтобы человек перестал быть безмолвным и беспомощным винтиком экономической и политической машины и превратился в суверенное, свободное, универсально и всесторонне развитое существо; социализм, по их представлениям, — это результат творчества, исторической самодеятельности масс и каждого человека. Разрешите не цитировать? Об этом можно ведь прочитать едва ли не на каждой странице сочинений Маркса, Энгельса, Ленина.

Партия — «орден меченосцев». Да разве это второстепенная деталь теории: кто такие коммунисты — закрытый, замкнутый средневековый «орден», привилегированная каста, господствующая над народом и втайне решающая все вопросы его судьбы, или это открытая, демократическая организация, добровольно взявшая на себя обязанность выполнять волю народа, быть подотчетной и подконтрольной народу в каждом своем шаге?

А идея обострения классовой борьбы? Это же, по сути, апологетика насилия, переходящего в открытый террор против своего народа.

Вот ведь какая суть сталинского политического режима вырисовывается из этих характеристик: замкнутый, закрытый, привилегированный «орден» (во главе, разумеется, со всемогущим Магистром) самодержавно, опираясь на самое грубое, самое жестокое насилие, управляет «винтико-человеками». Это, извините, не второстепенные отклонения от Маркса и Ленина, это

вообще не «отклонения» от «исходного проекта». Это просто другой, принципиально другой проект.

Таково, по моему мнению, действительное содержание «отклонений», таково их действительное значение для понимания сути сталинизма и его отличия от «первоначальных проектов».

Теперь два слова о «совпадениях» — о том «основном», что, по мнению некоторых авторов, «роднит» Сталина с Марксом и Лениным, делая их представителями «единой теоретической традиции», которая, «воплотившись» в практику сталинской политики, принесла столько бед. Роднит их, оказывается, ошибочное отрицание товарности и рынка при социализме, идея прямого продуктообмена. «Представьте себе, говорят нам, во что превратится наша страна, если мы предпримем еще одну, теперь уже третью (после военного коммунизма и сталинского наступления на рынок) попытку построить нашу экономику по модели Маркса, то есть на основе прямого продуктообмена и абсолютного директивного планирования сверху».

Да, если будет предпринята такая попытка, стране действительно придется очень плохо. Но при чем здесь «модель Маркса»? Откуда вычитано, что Маркс советовал в условиях, подобных условиям российской действительности после Октября 1917 года, игнорировать рыночно-стоимостные механизмы, вводить прямой продуктообмен и директивное планирование?

Разрешите невеселую аналогию. Человек ныряет в бассейн в точном соответствии с рекомендуемой «моделью прыжка» и разбивается — он упустил из виду одну деталь: бассейн должен быть наполнен водой. Ну, скажите, можно ли винить тут «модель прыжка», рассчитанную на нормальные условия?

Маркс и Энгельс (как, добавим, и Ленин) связывали преодоление товарностоймостных отношений с общественным строем, который возникнет на основе высокоразвитого капитализма (который будет близок к исчерпанию своих возможностей, обобществит процесс производства, создаст высокоразвитого работника, способного управлять социально-

экономическими процессами, сохранять и преумножать «плоды цивилизации» и т. д.). И эту-то альтернативу высокоразвитому капитализму Маркс с Энгельсом и назвали «социализмом». Только на этом, чрезвычайно высоком этапе культурного, экономического и политического развития и становится возможным и прогрессивным прямой продуктообмен, разработка планов, ориентированных не на стоимостные характеристики, а на потребности людей. Только к этим условиям и относится «модель Маркса».

Ситуация же, сложившаяся после Октября 1917 года, была совершенно непригодна для реализации этих марксовых «моделей». Здесь речь шла о поиске альтернативы не высокоразвитому, близкому к исчерпанию своих возможностей капитализму, а об альтернативе российской экономике — многоукладной, с доминированием мелкобуржуазного уклада, с существованием даже полуфеодальных отношений. Разваливалась эта экономика — и, конечно, условий для строительства того социализма, о котором писали Маркс и Энгельс (а это, думается, и есть единственно научное понимание социализма) не было. Пытаться в этих условиях применять «модель Маркса» и означало нырять в ненаполненный бассейн. О каком же «совпадении» сталинизма с марксизмом может идти речь?

А с ленинизмом? Может быть, с Ленина начались попытки применения «модели Маркса» в «не-марксовых» условиях? Может быть, Ленин был первым, кто

выдвинул после Октября 1917 года «введение социализма» в России, а Сталин лишь продолжил эту линию, начатую в Октябре 1917 года?

Нет, и с ленинизмом у сталинизма нет ни совпадений, ни отношения преемственности. Ленин, оценивая послеоктябрьскую ситуацию, с определенностью, не допускающей никакой двусмысленности, подчеркивал: для «введения», для непосредственного строительства социализма нет условий — «кирпичи еще не созданы, из которых социализм сложится». И

центральная, на мой взгляд, формула, выражающая самую глубинную суть ленинских оценок послеоктябрьской реальности: «выражение социалистическая Советская республика означает решимость Советской власти осуществить переход к социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков социалистическими». Более того, «в материальном, экономическом, производственном смысле мы еще в «преддверии» социализма не находимся».

Вот как: даже в «преддверии» социализма не находимся! Поэтому-то и не выдвигал Ленин задачу реализации в этих условиях «модели Маркса», поэтому-то и разрабатывал он специфическую «модель» развития, которая была бы альтернативной не крупному капиталистическому хозяйству, а именно социально-экономическим отношениям, которые сложились в ту пору в России. Не крупный, развитый, государственный капитализм борется здесь с социализмом, отмечал Владимир Ильич, «а мелкая буржуазия плюс частнохозяйственный капитализм борются вместе, заодно, и против государственного капитализма, и против социализма». Вот почему с такой иронией Ленин писал о «левом ребячестве» тех, кто предлагал тогда сразу переходить к социализму. Нет, возражал он, чтобы победить мелкобуржуазность, нам нужно суметь использовать механизмы крупнокапиталистического, государственно-капиталистического производства. «Наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его». И писал все это Ленин в начале 1918 года — по сути, сразу же после Октябрьской революции. А нас пытаются уверить, что Сталин воплощал его идеи перехода к социалистическому непосредственному продуктообмену.

Сталин и его окружение действовали не по «моделям» классиков марксизма, а в прямом противоречии с их «моделями». Для Сталина и его окружения в их реальной практике на первом месте стояли политическая воля, политическое насилие (переходящее в жестокий террор), с помощью которых они стремились решать все проблемы экономического и культурного развития, не справляясь о

том, достаточно ли зрелы условия для реализации тех или других задач. Не помышляя о том, чтобы находить пути и методы действия, способствующие их созреванию. Это и должно было кончиться большой бедой — как то, кстати, анализируя подобный образ действия, и предсказывали основоположники марксизма.

Я думаю, все изложенное дает нам право сделать вывод: «отклонения» Сталина — не отклонения, а «совпадения» — не совпадения. «Отклонения» на самом деле составляют суть его собственной социально-политической концепции, принципиально отличной от концепций Маркса и Ленина. «Совпадения» Сталина с «исходными проектами» напоминают «совпадение», случившееся у героя известной притчи, пожелание которого на похоронах «таскать вам — не перетаскать» совпадало с пожеланием, обращенным к людям, убирающим свой урожай.

Можно (и нужно) критически анализировать «исходные проекты» — и там мы действительно обнаружим и ряд односторонностей, и чересчур абстрактные утверждения, и определенную аберрацию видения, когда очень далекое представляется очень, очень близким, найдем и прямые промахи, и ошибки. Не найдем, я уверен, только одного — корней сталинизма.

Но доказать только это — недостаточно. Ибо надо ясно ответить на вопрос: если корни сталинизма не там, то где же? Несерьезно же видеть их в злоумышлении, злой воле, политических амбициях, а то и просто в психическом заболевании (появилась и такая версия!) Генерального секретаря. Несерьезно потому, что все это ничегошеньки не объясняет. Ну, скажем, примете вы диагноз Бехтерева: «сумасшедший у власти». Ну и что? Вы же ни на йоту не продвинетесь вперед в понимании сталинизма, ибо вам все равно тогда нужно будет объяснить: почему же, как же так случилось, что тысячи сумасшедших под присмотром нормальных людей, хотя и называли себя Наполеонами, но спокойно «вязали веники» и клеили спичечные коробки где-нибудь на Канатчиковой даче, а тут один сумасшедший вдруг заставил миллионы здоровых

людей «вязать веники» за колючей проволокой и признать, что он — Наполеон.

Или признаете, что слишком плохими были его проекты «коллективизации», «индустриализации», «политической системы». Ну и что? Вам все равно нужно будет объяснить, почему сотни плохих проектов оказывались просто в мусорных корзинах, а Его — становились законом всей общественной жизни страны.

Железная воля? Но давайте же не будем повторять нелепо преувеличенные песнопения подхалимов и трусов. Подумаешь, «воля» — у неограниченного деспота. Какая там особая «воля» нужна была: только бровью поведи, только губу скриви — и десятки угодников бросятся исполнять. Что он, гипнотизер какой? Вольф Мессинг, что ли? Кстати, почему в таком случае Джугашвили, а не Мессинг стал генеральным Гипнотизером?

А серьезны ли те «углубления», которые ныне в большом количестве встречаются на страницах популярных изданий? Понимают: глубже копать надо. И вот копают, углубляют. Например, можно «углубляться» в исследование строения мозга всемогущего шизофреника, отыскать обрывки его электроэнцефалограмм, выйти даже на клеточный уровень изучения — и копать, копать, глубже и глубже.

Можно углублять (как это подчас и делают сегодня) популярную версию о том, какими мастерскими, интриганскими действиями добился Он победы своих замыслов. Здесь можно и записочки его на разных там заседаниях воспроизвести и воспроизвести его разговоры с каким-нибудь Кагановичем или Ворошиловым, подслушанные кем-то случайно спрятавшимся под диваном. И про жену вождя можно кое-какие детальки подбросить, и поведать пикантные подробности про сестру Кагановича и некоторых других особ, бывавших у вождя на даче. Тут можно достичь просто невероятной глубины...

Явно недостаточны для понимания причин сталинизма и рассказы о перипетиях идейно-политической борьбы после смерти Ленина. В них тоже главный акцент делается на личных качествах



Сталина, на его политическом коварстве, «макиавеллизме» и т. п. Так, указывается, что с самого начала общепартийной дискуссии с троцкистами он начал борьбу за власть, не придавая слишком большого значения теоретическому содержанию полемики, планам и программам. Мастер политической интриги, он разбивал своих соперников по очереди: вначале использовал авторитет и личные амбиции Зиновьева, Каменева и Бухарина, чтобы разбить Троцкого и тем самым устранить с дороги своего главного политического соперника. Потом-де он устранил и Зиновьева с Каменевым, опершись на яркий теоретический талант Бухарина. («Бухарчика», как ласково и сентиментально называл он его в тот период.) Потом подошла очередь и Бухарина, ставшего к 1929 году главным его «конкурентом». Вот и все причины победы административно-командной системы.

Очень простое «объяснение»! Я бы сказал, что модель мелких склок и мелочных подсиживаний, характерных для иных научных коллективов, переносится на явления всемирно-исторического масштаба — туда, где идет движение, столкновение, взрывы, рождение и гибель громадных социальных континентов и политических материков. Думать, что какая-то отдельная личность по своей воле способна передвигать эти «материки» и «континенты» в любом, желаемом ей направлении — святая наивность, в лучшем случае.

Повторяю: либо мы дадим серьезные ответы на вопрос о корнях сталинизма, либо мысль человеческая будет с неизбежностью двигаться в сторону погрома «исходных проектов» марксизма.

И такой действительно серьезный анализ должен быть, как мы полагаем, связан в первую очередь с выяснением взаимоотношений и борьбы интересов, установок и устремлений важнейших социальных групп и слоев, участвовавших в российском революционном движении.

Метод такого анализа давно разработан Марксом. Вспомним, что в течение почти полувека мыслители XIX столетия были бессильны объяснить логику развития Великой французской

революции 1789—1794 годов. Тогда тоже преобладали «углубленные» попытки проанализировать черты характера революционных вождей, качество их воли (у одного — железная, у другого — стальная, у третьего — фарфоровая), их умение вести политическую интригу. Исписывались сотни страниц, чтобы доказать, что вот если бы Робеспьер не лег спать в свою последнюю ночь, а продолжал бы объединять своих сторонников, если бы Сен-Жюст в своей последней обвинительной речи успел назвать конкретные имена врагов революции, если бы немножко иначе вели себя Дантон и Камиль Демулен, если бы Шарлотта Корде была не Шарлоттой Корде... и т. д. и т. п., то не было бы этого калейдоскопа поднимающихся к власти и гибнущих затем деятелей, не было бы итоговой гильотины на Гревской площади... В общем, от таких объяснений, от мириад фактов и мелких подробностей, лежащих в их основе, чумела и пухла голова, а ясность сознания не приходила. Какая там, думалось, логика, какие закономерности — так, бессмысленный, полный случайностей кровавый клубок событий, и только.

А Маркс начал свой анализ не с «проектов» разных революционеров, не с того, что они сами о себе и о революции думали, а с рассмотрения содержания и борьбы интересов больших социальных групп, классов французского общества: И логика революции стала сразу ясной и прозрачной, на этом фоне стали предельно ясными взлеты и падения революционных вождей, стали понятными зигзаги судьбы Робеспьера и приход в конечном счете Наполеона Бонапарта.

Да, Маркс дал метод. Чтобы его выработать, надо было быть гением. Чтобы его применять — достаточно быть просто более или менее квалифицированным марксистом.

А метод этот состоит, в частности, в том, что прежде, чем рассматривать взгляды, волю, стремления отдельных личностей, следует понять логику движения и столкновения того, что мы назвали социальными материками и континентами. А отдельные личности? Ну что же, их роль, конечно, немаловажна. Но она

может быть сыграна только в рамках тех мощных объективных исторических тенденций, которые не в состоянии создать чья-то индивидуальная воля. Кроме того, отдельная личность может переходить с одного «материка» на другой, с одной позиции на другую, не изменяя при этом принципиально ни противостояния «материков», ни конфронтацию позиций, ни само содержание всемирно-исторического противостояния. Поэтому-то именно содержание классовых, всемирно-исторических противостояний, а не поведение и интриги отдельных личностей, должно иметь приоритетное значение в исторических исследованиях.

Если бы через Сталина не получали свою реализацию какие-то серьезные объективно-исторические тенденции, интересы и настроения определенных социальных сил, никакие бы «ухищрения» с его стороны не обеспечили бы ему столь долго длившийся успех.

Какие же социальные силы, какие интересы и настроения питали сталинизм?

### **О сущности и корнях сталинизма**

Итак, сталинизм. Что же это? Откуда это? Этот кошмар в стране той революции, которая хотела навсегда покончить с эксплуатацией, насилием, унижением человеческого достоинства, хотела быть началом мирового гуманизма и человеколюбия?

В нашей публицистике сегодня много рассуждений об этом «откуда» и меньше — о том, что он такое. Считается, что последнее общеизвестно: ну, там, репрессии, культ, командные методы, повсеместная грубость, унификация, двойная мораль; остается только найти корни. Но эти перечисления — лишь отдельные части, лишь проявления более глубокой сущности. Ее-то прежде всего и надо определить. Без знания этого «что» невозможно прийти и к настоящему пониманию «откуда».

Итак, что же он такое, «сталинизм», в чем его суть как идеологии и как общественной системы?

Существующая в истории философии шкала оценок философских систем недостаточна для характеристики идеологии сталинизма. Нет в ней таких понятий, которые хотя бы отдаленно могли бы быть применимы к сталинистским взглядам. Наверное, потому, что не было в прежней истории чего-либо похожего на сталинизм. Ну, может быть, из имеющихся наименований ближе всего подошло бы «крайний, грубый, субъективный идеализм». Да, это в том направлении, но до станции «сталинизм» катить по этой идейной ветке еще очень и очень далеко. Достаточно вспомнить теоретическую культуру, гуманизм да и простое человеческое благородство таких субъективных идеалистов, как Фихте, Беркли, Богданов,— и становится ясным, что относить это наименование к сталинизму — значит незаслуженно его облагораживать. Зрелый, развитый сталинизм, каким он сложился к середине 30-х годов,— это антигуманистическая, волюнтаристская идеология бюрократической элиты, абсолютизирующая и прославляющая насилие — во всех его ипостасях. Это его идейная суть. А как система социально-политических отношений сталинизм — это диктатура бюрократии (причем в ее самых варварских, самых террористических формах).

Сталинисты (что легко устанавливается в первую очередь по их действиям) рассматривают себя («руководящие кадры») в качестве абсолютных авторов и подлинных демиургов истории («кадры решают все!» — И. Сталин). Для сталиниста социальная действительность — не органическая система взаимоотношений людей, развивающаяся по своим законам и проходящая определенные ступени зрелости, а материал, глина, из которой можно лепить что угодно, но своему усмотрению — были бы только политическая воля, крепкая (с «железной дисциплиной!») организация и мощные средства насилия, с помощью которых можно было бы поворачивать людей в любую сторону. Вам нужно получить гарантированное зерно? Создайте диктаторские отряды, вооружите их винтовками и правом беспощадно карать — и они «в два счета» загонят массы разьединенных и безоружных людей за один забор, и те в сталинских колхозах или лагерях будут работать.

Куда они денутся! Законы ГПУ выше всяких там «объективных законов»!

Следует к этому еще добавить, что сталинизм — это система, построенная на самой постыдной лжи, на идейном цинизме и двойной морали. Идеологию неистового волюнтаризма и бешеного насилия здесь стремятся вырядить в благородные диалектико-материалистические одежды марксистской терминологии. Диктатуру бюрократической элиты со всемогущим деспотом и кровавыми палачами тщатся представить как самую гуманную и самую яркую демократию Земли.

Да, кажется просто невысказанным господство такой идеологии, такого политического режима в обществе, стремившемся сознательно руководствоваться материалистическим учением Маркса и развивать широкую демократизацию общественной жизни. Это выглядит действительно столь невероятным, что и причины этого обычно стараются найти тоже какие-то невероятные — у чудовищного явления должны быть и чудовищные корни. Ищут в прошлом какое-то внезапное, гигантское социальное землетрясение, которое «вдруг» резко переломило когда-то логику исторического развития.

И в результате сбиваются на ложные пути. Потому что самые страшные болезни, как правило, возникают путем постепенной деформации нормы. Раковые клетки растут поначалу тихо, незаметно, постепенно деформируя здоровую ткань. И только потом, когда перерождение с разных сторон захватывает организм, губительный процесс начинает убыстрять свой ход, обретая черты чудовищного и трагического.

Самое трудное (и самое, конечно, важное) — понять истоки этого движения от нормы к деформации.

Сталинизм начинается просто, «естественно» и тихо — отнюдь не с каких-то громких и коварных «измен», идейных и политических «переворотов». Он начинается: идейно — как бы с марксизма, а социально-политически — как бы с традиций Октября.

Непростая задача и состоит в том, чтобы установить, как, каким путем, под воздействием чего он превращается в прямую противоположность давшему ему жизнь «началу». Это не происходит вдруг.

1924—1929 годы: формирование предпосылок сталинизма. Между преобладанием ленинизма в первые послереволюционные годы и утверждением сталинизма (в середине 30-х годов) лежит некий «переходный период», когда формируются идейные и социально-политические предпосылки и черты сталинизма, когда все яснее выявляются противоположности казарменно-коммунистических и социалистически-демократических начал нашей общественной жизни, когда они вступают в открытую борьбу друг с другом. А происходит эта постепенная идейная и социально-политическая кристаллизация сталинистских тенденций следующим образом.

Сталинизм начинается как бы с марксизма. Начинается как несколько упрощенный, несколько вульгаризированный, как бы немного недопонятый марксизм. И это на первых порах и не слишком заметно. Тем более что все эти «упрощения» и «отступления» в той или другой, в меньшей или большей степени были присущи отнюдь не одному Сталину. Все члены большевистского руководства, кроме разве Ленина, грешили этим—и Зиновьев, и Троцкий, и Каменев, и Бухарин, и Пятаков... Причем «грех» этот у всех был одного и того же свойства: они все немного припадали на «левую ногу» — слишком большую роль в истории отводили человеческой инициативе и активности. Их революционные биографии, вся логика их прежней борьбы, боевая послеоктябрьская атмосфера толкали их к преувеличению одной идеи марксизма, изложенной в знаменитом 11-м тезисе Маркса о Фейербахе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Понималось это как-то таким образом, что «объяснение» (то есть понимание) мира — это что-то маловажное, второстепенное и даже не очень нужное. Главное — «изменять» мир, «переделывать». И практика как будто подтверждала это: все гигантские «изменения» и «переделки»,

начатые в Октябре 17-го года, удавались прекрасно. Мир подчинялся и не сопротивлялся. Почти все получалось. Победили монархистов, кадетов, эсеров, меньшевиков, не спасовали перед немцами и Антантой, разбили белую гвардию. Варшаву, правда, взять не удалось. Но это — частности, случайная неудача; в следующий раз приложить чуть больше усилий — решится и эта задача. Главное — «изменять» мир, человек все может!

А разве не так? Разве не критиковал Маркс в «Нищете философии» Гегеля за то, что для него человек — щепка на волнах судьбы, актер, покорно играющий по сценарию, написанному Объективным Разумом. Разве не подчеркивал Маркс, что человек — творец, «автор», что вся история не что иное, как результат деятельности человека, преследующего свои цели? Разве не так?

Не так! Да, Маркс признавал за человеком историческое авторство. Но это была лишь часть, лишь половина марксовской формулы человеческой деятельности. А вот другую ее половину в первые послереволюционные годы как-то не очень замечали. Человек, гласит полная формула Маркса, и автор, и одновременно актер, действующее лицо разыгрываемой в истории драмы.

Человек — автор, ибо своей борьбой он избирает и реализует одну из имеющихся объективных возможностей — по какому, скажем, пути пойдет Россия в начале XX столетия, по прусскому или американскому. Но он не может, например, при всем своем желании, ввести в России 1905 года коммунистическое производство и распределение. Он выбирает только в пределах того спектра возможностей, который был создан деятельностью предшествовавших поколений, за эти пределы ему не выскочить. И в этом отношении он — «исполнитель», «актер».

Эта-то диалектика марксизма («автор — актер») не вполне ухватывалась многими теоретиками и политическими руководителями начала 20-х годов. Им больше нравилась тема «авторства». С нее и начинается движение в направлении сталинизма. Но все же это лишь первые шаги, движение лишь в направлении к сталинизму, лишь некоторый вектор, направленный

в его сторону. Однако стрелка, указывающая направление «на Москву» («nach Moskau»), еще не свидетельствует о том, что Москва — там, где эта стрелка, и что тот, кто движется по направлению, ей указанному, обязательно доберется до Москвы. Поэтому нам не кажется убедительным вывод, который делают иные современные публицисты из этого общего левацкого, волюнтаристского поветрия первых послереволюционных лет — дескать, все они — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин и многие, многие другие партийные лидеры той поры — одним мирром мазаны. Чего их разделять, все хороши!

Я все же думаю, есть одна важная, принципиальная грань, стерев которую, мы рискуем ничего не понять в истории. Я думаю, мы сделаем большую ошибку, отождествив, например, левацкие увлечения Бухарина (особенно сильные в начале 20-х годов) со сталинистской идеологией середины 30-х годов. Это же принципиально разные вещи: добросовестные заблуждения Бухарина, склонного к преувеличению возможностей революционного народа (и его вождей) в истории,— и сознательный антинародный курс сталинистов, ставящих на исторический пьедестал бюрократическую элиту, ее «всемогущего» вождя и рассматривающих народ как совокупность «винтиков» и «гаечек».

Эту грань надо видеть. Но, постоянно видя эту грань, следует, на мой взгляд, задуматься и над тем — как так случилось, что левацкие, волюнтаристские тенденции не ступали под воздействием практики, а получили усиление, подходя к той грани, за которой начинается собственно сталинизм, грани, где субъективные ошибки, честное революционно-романтическое заблуждение уступают место тщательно разработанной и последовательно проводимой в жизнь концепции решающей роли в истории административно-бюрократического насилия.

Переход этой грани одной логикой борьбы идей не объяснишь. Дело вовсе и не в том, что в какой-то период руководству партии показались более убедительными левацкие идеи. Усиливала левые



тенденции в руководстве, гнала их к грани, за которой начинается сталинизм, в первую очередь психология довольно значительной части революционных масс (наименее развитой, уповающей во всех вопросах на универсальное средство решения — саблю и насилие).

Мощное идейно-психологическое давление этих массовых социальных слоев, их политическая поддержка руководителей ярко выраженного волюнтаристского типа играли громадную роль в передвижке всей оси политической жизни партии и страны в сторону левачества и субъективизма.

Движению политической и теоретической мысли «влево», к волюнтаризму (а в перспективе — к сталинизму) способствовали, таким образом, не только идейные установки руководителей партии, формировавшиеся под воздействием неточно понятых причин успехов революции и упрощенно истолкованного марксизма, но и давления — психологического, идейного, политического — значительной части революционного народа.

То есть — и это тоже очень важно четко зафиксировать — сталинизм получает первоначальные импульсы и в определенной части народа. Таким образом, не только идейные истоки сталинизма, но и социальные тоже не отличаются чем-то из ряда вон выходящим. Некоторые исследователи пытаются отыскать какую-то необычайную социальную базу, питавшую «чудовище» сталинизма, — называют «пауперов», «деклассированные элементы», те или другие крестьянские слои. Мне же кажется, что и первоначальная социальная база сталинизма не отличается какой-то крайней, особой экзотичностью.

Зародыши сталинистских (то есть субъективистских, волюнтаристских) идей вовсе не кажутся революционной массе чужеродными. Ибо она вся — после громких революционных побед — заражена левачеством (и даже значительно большим, чем ее вожди). Но все же в революционном народе, совершившем Октябрьскую революцию, ясно просматривается разделение на два крыла, две части, два течения. Одно — несмотря на некоторый

налет левачества, естественный, повторяю, в ту пору,— можно было бы все же назвать революционно-реалистическим, революционно-демократическим, и другое — революционно-левацким, казарменно-коммунистическим. Ранний сталинизм (примерно во второй половине 20-х годов) и начинает все больше ориентироваться на вторую часть революционной массы. Но — в силу важности этого аспекта проблемы — о нем следует сказать поподробнее.

### **Социальная база «раннего сталинизма»**

Принципиально важным моментом для понимания происходивших после Октября процессов является признание существования внутри российского революционного движения двух социальных образований и возникающих на их основе двух идейных течений — революционно-реалистического и революционно-левацкого толка. Мы подчеркиваем: именно внутри революционного движения (о разделении реформистского и революционного крыла, большевиков и меньшевиков писалось много — это другой сюжет). Речь идет о политически развитой, культурной, цивилизованной части угнетенных трудящихся масс и об угнетенной, но темной и неразвитой, страдающей, но непросвещенной массе. Обе части были вместе, одинаково — «против»: против царизма, корниловщины, войны, капиталистического хищничества и бесправия. Но они были по-разному «за», они были за разное «за». Они по-разному представляли себе процесс ликвидации старого мира и утверждения нового.

Разделение это, различия эти имели не случайный, не временный, не второстепенный характер. О том, что речь идет о принципиальном и крупном историческом противостоянии, свидетельствует и тот факт, что эти две тенденции издавна и постоянно существовали в российском революционном движении. Это — «казарменно-коммунистическая», авторитарная (Зайцевский, Нечаев, Ткачев...) и демократическая, прославляющая историческую самодеятельность народа (Радищев,

Герцен, Лавров, Добролюбов, Чернышевский...). В этих двух типах жизненной ориентации, политического мышления, мировоззрения отразились различия социального и культурного бытия двух основных слоев революционной массы — развитого, культурного слоя трудящихся, способного подхватить и продолжить в истории «золотую нить прогресса», способного, говоря словами Маркса, сохранить и преумножить «плоды цивилизации», и слоя людей, отброшенных обществом на самое дно, «отверженных» в полном смысле этого слова, людей, забитых этим обществом, загнанных в угол, неразвитых, ненависть которых к данному общественному устройству получает преимущественно тотально-разрушительный характер. «Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение,— провозглашали наиболее ранние выразители указанной тенденции в России, нечаевцы.— Пусть же все здоровые, молодые люди принимают немедленно за святое дело истребления зла, очищения и просвещения земли огнем и мечом». Формы этой деятельности «могут быть чрезвычайно многообразны: яд, нож, петля и т. п.»,— «революция все равно освящает!».

Этот отряд угнетенных требует пристального к себе внимания. Он, с одной стороны, составляет важную и очень решительную часть общей революционной армии и будет с беззаветным героизмом сражаться с угнетателями. Но, с другой стороны, существует большая опасность, что люди этого слоя свои неразвитые потребности, свою «полуазиатскую бескультурность», свои нравственные установки, порожденные во многом их обесчеловечным бытием в старом обществе, попытаются возвести во всеобщий закон нового общества. Причем попытаются сделать это с помощью привычного им средства «огня и меча», с помощью всемогущего, по их мнению, насилия — и в итоге, как писали Маркс с Энгельсом, может в новой форме произойти «возрождение старой мерзости».

Неразвитость, низкий культурный потенциал тысяч Нагульновых и Сафроновых (героев из «Поднятой целины» Шолохова и «Котлована» Платонова) делал понятным им только

одно: организовать, сплотиться, напрячь все силы, непослушных поднять и заставить — и все можно сделать, все! Ошеломляющий успех в Октябре и в гражданской войне — когда по всем обычным законам соотношения сил они как будто не могли победить, но победили — укреплял их веру в свое всемогущество. То есть непонятая логика Октябрьской победы (в которой как раз опора на объективные законы, а не на насилие, обеспечила успех) и низкая культура значительной части народа и породили массовую эйфорию всемогущества и всевозможности. Ну, буквально: нет преград — ни в море, ни на суше. Или, как восклицал в состоянии политического восторга один из революционных лидеров той поры: «Если это солнце будет светить только буржуазии — мы погасим солнце!!» Вот как! Ораторский образ, конечно, большой силы. И я представляю, каким восторженным гулом откликнулась на него революционная толпа. А вдумаясь в него, умерив экзальтацию: во-первых, надо ли так чересчур-то чваниться — уж солнце-то во всяком случае нам совершенно не подвластно; и во-вторых, если даже мы и выполним это фантастическое обещание, то ведь не только же «проклятая буржуазия», но и сам всемогущий пролетариат исчезнет с лица земли.

Хотя, впрочем, что-то похожее на это обещание сталинистам удалось-таки реализовать: одно за другим, например, гасили они исторические «солнца» — в небе культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства. Самоубийственное всемогущество!..

Разумеется, все это неоднозначно. Массовое ощущение полноты своих исторических сил, уверенности в способности к социальному творчеству — прекрасное состояние людей, сбрасывающих оковы рабства. Глядя на них, уже не скажешь, как когда-то Чернышевский о спящей России: нация рабов, сверху донизу — все рабы. В эти-то прекрасные исторические минуты пробуждения роль партий, «вождей», по-видимому, и должна состоять в выяснении тех реальных возможностей, которые способны реализовать полные энтузиазма люди. И, указывая на границы возможностей, где-то надо идти и против течения — так, как это

умел делать Ленин: «коммунисты, учитесь торговать»; меньше громких фраз, больше конкретных, «малых» дел; не бойтесь идти на выучку к спецам; не чваньтесь пролетарским классовым чутьем, овладевайте всем богатством прошлой культуры; стройте будущее не на энтузиазме только, а при помощи энтузиазма на заинтересованности каждого в результатах конкретной работы; миллионы юношей и девушек, механически затвердивших коммунистические лозунги, принесут делу строительства нового общества больше вреда, чем пользы, и т. д. и т. п.— глубокие, умные, отрезвляющие слова. Они не забивали, не гасили энтузиазм, но переводили его из области мифов в мир реальностей, из области слепой и безотчетной веры в мир строгой и научно обоснованной мысли. Сталинизм же закрепляет эти ложные ценности и установки волюнтаризма и возводит их в ранг теории и партийно-государственной политики. Противоположность ленинских и сталинских установок просто бросается в глаза.

Ленин: на основе добровольности, на базе убеждения, опираясь на примеры успешной деятельности, вести постепенную и планомерную работу по развитию кооперативных начал в деревне; используя достижения мировой научной и индустриальной мысли, опыт спецов, сочетая энтузиазм и материальную заинтересованность трудящегося человека, диалектически сочетая хозяйственное единоначалие и рабочую демократию, двигать промышленность; вести культурную революцию, настойчиво, но деликатно преодолевая наследие прошлого культурного варварства.

Сталин: за пару лет ударными темпами создать социалистические отношения на селе, превратив сельских тружеников в колхозное крестьянство, а сомневающихся и «несознательных» — в «лагерную пыль»; за две-три пятилетки всех догнать и перегнать (иначе «нас сомнут»); в кратчайшие сроки покончить с религиозным опиумом, не останавливаясь, если понадобится, ни перед чем — можно и церкви взрывать, и приходы закрывать, и попов сажать; заполнить деревни атеистами и чекистами.

И попробуйте слово сказать поперек этого «энтузиазма» — в порошок сотрут: «Что, неверие в силы народа, в силы революционного, победившего, героического и всемогущего пролетариата? Конечно, вы, интеллигентские умники, можете ждать, а мы, пролетарии и беднейшие крестьяне, измучившиеся за долгие годы рабства, ждать не можем. Не перечеркнуть вам наших надежд, капитулянты, трусы, маловеры, вредители, враги» и т. д.— по восходящей.

Сталинские лозунги той поры — это их лозунги, их желания, их стремления, их надежды. И, конечно, этот хищнически эксплуатируемый государственным руководством энтузиазм — подобно допингу, принимаемому спортсменом,— что-то временно дает, на сколько-то ступеней поднимает общество, но ценой последующего разрушения организма и прихода страшного разочарования — в будущем.

Но тогда, в те исторические мгновения конца 20— начала 30-х годов, когда последствия политического допинга для многих были еще не видны, они восклицали: «Да здравствует наш, родной, близкий Сталин!» И он действительно был их, близкий, родной и такой понятный.

Так — во второй половине 20-х годов — зарождались теория и практика сталинизма, питаемые настроениями значительных масс народа, и в этом смысле его происхождение отнюдь не было каким-либо историческим казусом или нелепой случайностью.

### **Зрелый сталинизм: социальная база и идеологическая суть**

Народен ли сталинизм? Итак, сталинизм выглядел поначалу как продолжение марксизма и как выражение воли и настроений народных масс. Заметим, однако, что по мере роста ультралевацких тенденций в сталинском руководстве и кристаллизации сталинской доктрины эта связь с марксизмом становилась все более иллюзорной, а по мере развития общественной практики, все отчетливей выявлявшей подлинную социальную суть сталинизма, рушилась и его связь с народным сознанием, с массами. Последнее особенно важно, и поэтому нужно пояснить, что мы имеем в виду.

Из того несомненного факта, что первоначальной питательной идейной средой для становления и первых ростков сталинской доктрины является психология определенной части народных масс, нередко делается вывод, что сталинизм — это народная идеология, что за Сталиным — интересы широких масс народа; что, развертывается далее «логическая» цепочка, тот, кто выступает против сталинизма, — выступает против народа; то есть — кто враг сталинизма, тот враг и народа.

В подобных рассуждениях стирается еще одна существенная грань — между сталинизмом и народным сознанием, народными интересами. Стирание этой грани ведет к разного рода ложным выводам. Для одних публицистов («либерального» направления) — это веское доказательство того, что народ России ничего лучшего, как сталинизм, и не заслуживал: «Народ имел то правительство, которое он заслужил». Для других (ностальгически вздыхающих по прежним временам «порядка») — это способ защиты сталинизма; Сталин — народный вождь, а созданная им система — отражение воли, желаний и чаяний масс.

Вот против этого отождествления сталинизма и интересов народа мы хотели бы особенно решительно возразить.

Да, сталинизм в каком-то смысле вырастает на народной почве, но в нем отражаются не подлинные, не действительные, не глубинные интересы народа, а лишь поверхность его сознания, его психологии в определенный конкретно-исторический период (да и то не народа в целом, а, как мы отмечали, лишь его менее развитой, менее цивилизованной части). Надо добавить еще, что эти «верхние слои» его психологии, его настроения находились в остром противоречии с его действительными интересами. Ведь в чем состоял действительный, подлинный интерес угнетенных российских масс? В осуществлении социального равенства людей, и на этой основе — обеспечении роста их материального благосостояния и культурного развития. Однако их представления о методах и способах достижения этой цели были ложными — они не вели к ней. Существовало, таким образом, фундаментальное

противоречие между действительными интересами народа и предполагаемыми способами их достижения. Возникало ложное сознание, не соответствующее исторически назревшим задачам. Сталинизм в отличие от ленинизма не стремился просветить массы, выяснить это противоречие целей и предлагаемых ими средств и предложить средства, адекватные целям; он эксплуатировал их невежество, их предрассудки. И поэтому, я думаю, нет никаких оснований говорить о сталинизме как выразителе коренных интересов и потребностей даже какой-то части народа. Сталинизм, по сути своей, антинароден.

Народ (ни в каких его частях или слоях) поэтому, строго говоря, никак не может рассматриваться в качестве социальной базы зрелых форм сталинизма (какие сложились, например, к середине 30-х годов). Да, сталинизм в пору своего возникновения питался невежеством, неразвитостью части народных масс. И в этом смысле (и только в этом смысле) определенную «народную» (может быть, точнее сказать, «псевдонародную») окраску он приобретал. Но он приходит в острое столкновение с этими же массами, как только они начинают осознавать свои подлинные задачи и адекватные способы их решения.

В итоге все яснее вырисовывалась действительная социальная база, питающая зрелые формы сталинизма. Сталинизм постепенно ее нащупывает, а затем в массовом порядке ее воспроизводит и решительно в моменты острых социальных конфликтов защищает. Что же это за база?

### **Диктатура бюрократии**

Общий механизм нащупывания (и формирования) бонапартистскими режимами (а сталинский — из их числа) своей адекватной социальной базы превосходно описан Марксом в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Свой первоначальный исток бонапартизм, как указывал Маркс, находит в одном из массовых угнетенных слоев {тогда, в конце 40-х годов XIX века, это было крестьянство). И далее важное добавление: «Династия Вонапарта является представительницей не просвещения



крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...».

Подставим вместо «династии Бонапарта» — «сталинизм», вместо «крестьянства» — «пролетариат и беднейшее крестьянство», и мы получим точную характеристику нашей ситуации в конце 20-х годов. А вот что происходило в бонапартистской Франции дальше. По мере того как развитие исторических событий просвещает крестьянина, помогает ему подниматься со ступени «предрассудка» на уровень «рассудка», происходит обострение противоречий между более верно осознающим свои интересы народом и псевдонародной властью. Но к этому времени бонапартизм уже не нуждается в «братском согласии» с прежде дружественными народными слоями. Он сформировал уже свою собственную социальную базу, полностью отвечающую его зрелым формам: бюрократию, армию, репрессивный аппарат, способные жестоко расправиться со своим вчерашним «союзником». Начались «облавы, устраиваемые армией на крестьян», «массовые аресты, массовая ссылка крестьян».

Сходную эволюцию претерпевал и сталинизм. Эксплуатируя «предрассудок», «ложное сознание» части трудящихся масс, он постепенно укреплял исполнительную власть и создавал соответствующую своей сути армию бюрократии, способную с помощью карательных органов дать отпор всем, кто поднимется на уровень «рассудка» и заявит свои права. Адекватной социальной базой сталинизма и становится бюрократия.

Вот почему сталинизм и народ, поверхностно и противоречиво соединенные на начальных этапах нашей истории, с течением времени все дальше отходят друг от друга. По мере развития экономики страны и культурности трудящихся, по мере того как искаженные, деформированные представления о целях социального движения заменяются в сознании трудящихся более точными, а ложные представления о средствах их достижения вытесняются все более истинными, сталинизм утрачивает и ту ограниченную народную опору, что он имел когда-то. Развивающиеся в ходе

объективного исторического движения массы становятся поначалу стихийным, а потом и все более сознательным противником сталинизма. В этом — в невозможности опереться на поддержку масс — заключается, кстати, одна из причин затрудненности реставрации крайних форм сталинизма сегодня.

Однако, по мере того как уменьшается роль одной из опор сталинского режима, резко возрастает роль другой опоры — бюрократии, которая со временем и становится главной социальной базой сталинизма. На этом рубеже изменяется качество сталинского режима: из волюнтаристской, административно-командной системы, все еще сохраняющей определенную связь с народной основой и опирающейся среди прочего на народный энтузиазм (порожденный Октябрьской революцией), он превращается (по времени — где-то к середине 30-х годов) в антинародную (по сути своей) диктатуру бюрократии, опирающуюся на силу карательных органов, на силу страха.

Вместе с изменением качества социально-политических отношений меняется и качество идеологии. Нет, она, как и прежде, сохраняет свою субъективно-идеалистическую окраску. Ибо бюрократия, как и та, менее развитая часть трудящихся, о которой мы писали, придерживается волюнтаристских взглядов на исторический процесс, — ее социальное бытие в качестве силы, с одной стороны, бесконтрольно управляющей (точнее — заправляющей) социальным строительством, а с другой — теснимой подлинным субъектом истории — трудящимся человеком, — навязывает ей волюнтаристское сознание. Только в отличие от названных народных слоев она придерживается волюнтаризма и субъективизма не по невежеству, а сознательно. Здесь уже речь идет не о наивно-революционном сознании масс, ошибочно определивших некоторые из своих целей и средств реализации своих интересов, но о безошибочно точном отражении объективных интересов бюрократического слоя, о тщательно продуманной реакционно-консервативной доктрине.

Возникновение и развитие этой, второй, а с ходом времени — главной, опоры и социальной базы сталинизма — тоже вполне закономерный, естественноисторический (а не порожденный волей «злодея» или «гения», как хотите) процесс. Никаких тут исторических казусов нет. Имелись существенные причины того, почему в первые после Октября годы стала усиливаться бюрократия и почему задерживалось половодье демократизма и народоправства.

Историческая обусловленность усиления бюрократии. Если взять экономическую сторону дела, то в начале 20-х годов экономически страна представляла сумму не связанных между собой, разорванных звеньев; системы экономической не было, были лишь малосвязанные друг с другом «острова» экономики. Экономических рычагов, механизмов, способных увязать все в систему, навести мосты между «островами», дабы заставить хоть как-то функционировать эту экономику, не было. Экономические связи по необходимости надо было заменить политическими, административными. Государственное чиновничество и было связующим началом разрозненных экономических звеньев, оно было, так сказать, «административно-политическими костылями» экономики, оно худо-бедно давало экономике жить и двигаться.

Если же взять социально-политический, или социально-культурный, аспект, то неизбежность усиления административно-бюрократического слоя связана с объективной невозможностью значительной части (если не большинства) трудящихся — в силу своей культурной неразвитости — принимать реальное участие в управлении, в реальном контроле за деятельностью хозяйственного и государственного аппарата. Поначалу они не потому не принимали участия в управлении и контроле, что их кто-то, по причине своей злонамеренности, не допускал, но потому, что они просто не в состоянии были это делать.

И снова возникает искушение сделать вывод (как то и происходит в статьях некоторых публицистов): поскольку

усиление бюрократии по названным выше причинам — факт неизбежный (и с точки зрения развития экономики страны в какой-то степени оправданный), то, следовательно, и вырастающий на ее основе сталинизм — тоже явление неизбежное, которому нет альтернативы (и потому тоже в определенной степени оправданное).

Думаем, что снова — мимо. Думаем, что несостоятельны и эти попытки обосновать неизбежность сталинизма и на другой, теперь уже не народный, а бюрократический лад.

Что было действительно неизбежным в нашем послеоктябрьском развитии и что — нет? Да, неизбежным было усиление бюрократии. Это факт. Но «усиление бюрократии» — это еще не сталинизм. Сталинизм — это диктатура (то есть тотальное и безусловное господство) бюрократии (да еще в террористических формах). И вот этот-то переход от простого «усиления бюрократии» к ее террористической диктатуре, по нашему мнению, неизбежным не был. Мы убеждены, что вполне возможен был и другой вариант развития событий — постепенное ограничение, ослабление роли бюрократии и рост демократических начал.

Была ли эта, другая, возможность реальной возможностью? Был ли действительный выбор? Думаем, что и реальная возможность, и действительный выбор были! И вот тому доказательства.

То, что возможности иного выбора были реальными, свидетельствует прежде всего тот факт, что «ситуация выбора» между административно-командным и демократическим началом возникала в нашей истории не раз — не только в 1929 году, но и раньше, и позже; и не всегда разрешалась она в пользу сталинского варианта. Случалось, брало верх демократическое, ленинское начало. Разве нет? Вспомните, к примеру, ситуацию в начале 20-х годов, накануне нэпа, в 1927 году — в период XV съезда партии, в 1956 году (XX съезд!), в апреле 1985 года.

Это были ситуации именно такого выбора. В начале 20-х годов, отмечая мощный рост военно-коммунистических, командно-бюрократических тенденций, Ленин с тревогой писал, что, если мы

от чего и погибнем, так это от бюрократизма. Он тогда же всерьез размышлял об опасности «термидора». Иначе говоря, складывалась явно кризисная, критическая ситуация, когда от того или другого решения зависело, придет ли «термидор», «погибнем» ли мы или сумеем найти способ движения по иному, демократическому, а в перспективе — социалистическому пути развития. Этот момент выбора закончился, как известно, в пользу демократической, ленинской, альтернативы. Лениным была предложена программа по ограничению возможностей советской бюрократии, по ее ослаблению. Эта программа предусматривала блокаду, а в перспективе — и разрушение тех главных основ, на которых покоилась бюрократия. Предлагалось, во-первых, оживление экономических связей (что уменьшало бы надобность в существовании громоздких механизмов внеэкономического, административно-политического регулирования) — это программа нэпа, развитие кооперации, поощрение создания промышленных концессий и государственно-капиталистических форм производства. Делалась, во-вторых, ставка на экономические стимулы приобщения населения к труду (что сужало бы сферу внеэкономического, военно-коммунистического принуждения). Принимались, наконец, меры по развитию демократии, участия простых рабочих и крестьян в работе высших государственных органов страны, в контроле за деятельностью руководящих кругов партии, по ликвидации неграмотности и росту общей культуры народа.

Ну, и разве нереален, утопичен был этот план? Разве остался он в сфере мечтаний? Разве не начал он реализовываться в жизни? И разве не пошла успешно его реализация? Успехи нэпа хорошо известны. Административно-командной, бюрократической системе тогда не удалось прорваться к господству.

Потерпели поражение и попытки создания административно-командной системы на базе концепции «первоначального социалистического накопления» Троцкого — Преображенского сразу после смерти Ленина. Борьба партии против этой концепции, в которой ведущую теоретическую роль сыграл Бухарин,

закончилась закреплением в целом ленинских, демократических начал развития страны XV съездом ВКП(б) (1927 г.). Вместо предлагаемого авторами концепции «первоначального социалистического накопления» плана развития экономики страны «за счет крестьянства», путем административно-насильственной перекачки средств из деревни в город, вместо их планов построения работы заводов и фабрик по военно-казарменному принципу и стимулирования интенсификации труда с помощью политического и правового насилия — вместо этого партия на XV съезде приняла программу, нацеленную на сохранение равноправия рабочих и крестьян, на добровольное кооперирование, не высокие (но реалистические) темпы индустриального развития, на расширение демократических начал в общественной жизни.

А разве XX и XXII съезды партии, развитие событий после апреля 1985 года не являются еще одним убедительным доказательством реальности несталинской (антисталинской) альтернативы? Понимание этого, понимание того, что вопрос «быть сталинизму или нет», решается не в сфере каких-то «объективных», царящих над людьми предначертаний, а всеми нами, нашей борьбой, умением ее организовать и вести, понимание того, что нить истории слагается не из каких-то неизбежных, необратимых событий, а представляет собой узлы постоянно возникающих и разрешающихся людьми альтернатив,— это понимание совершенно необходимо для успешной деятельности по революционному преобразованию современной действительности.

Недорого стоит мудрость исследователей, которые, оценивая шаги и результаты конкретной исторической борьбы, глубокомысленно изрекают: все это было неизбежно, иначе и быть не могло, а разговор о возможных иных исходах — это, по их мнению, не историческая наука, а бессмысленное гадание на кофейной гуще. Для них все «неизбежно» — и победа сталинистов в 1929 году, и их поражение в 1956-м, и реванш неосталинских тенденций после 1964 года, и поворот к демократическим началам в апреле 1985 года. Правда, затрудняются они сказать, какая «неизбежность» ожидает нас, например, в 1995 году. Вот уляжется

дым сегодняшних схваток, определится в отчаянной борьбе итог событий — вот тогда снова придут наши мудрые летописцы со своим глубокомысленным «иначе и быть не могло». Большой прок от этой «мудрости задним числом»!

Нет, мы не защищаем тезис о том, что в истории «все возможно» и что «от человека зависит все». Мы просто обращаем внимание на то, что соотношение основных социальных сил в нашей истории (развитых и неразвитых слоев трудящихся, бюрократической элиты и т. д.) было и есть таково, что были возможны и остаются возможными варианты как демократического, так и административно-командного развития и что исход каждого из сражений между этими силами не предопределен заранее. Результат зависит от многих конкретных факторов, в том числе и от умения борющихся сторон (и их вождей) находить правильную политическую стратегию и организационные формы борьбы. И еще одна важная сторона методологии, которой мы придерживаемся. Для понимания результатов того или другого конкретного выбора важно видеть общую историческую тенденцию, состоящую в том, что по мере экономического и культурного развития страны и трудящихся масс все более широкой становится социальная база демократических («ленинских») политических программ и сужается социальная база сталинизма. Поэтому если в первой половине нашей послеоктябрьской истории общий социально-экономический и политический фон эпохи благоприятствовал победе сталинистских установок (хотя и не делал эту победу неизбежной), то затем массовая историческая инициатива стала — объективно — переходить к подлинно ленинским, демократическим силам (хотя и не делала их победу гарантированной).

Подведем краткий итог сказанному.

Сталинизм берет начало не в каких-то необычных, экзотических идейных и социальных сферах. Он вырастает на той же самой общей почве, что и ленинизм, — почве революционного народа и марксизма, но — на тех участках этой почвы, которые порождают

сорняки, паразитические растения, противостоящие цветам подлинно гуманистической культуры. По внешнему виду первые ростки ядовитых растений сталинизма не сразу можно отличить от культурных побегов.

Иначе говоря (оставим образный строй рассуждений!), сталинизм не сразу проявляется как ясно выраженный антипод марксизма и ленинизма. На первом этапе он формируется как некая, неясно выраженная тенденция идеологического субъективизма и политического волюнтаризма, отражающая психологию, настроение менее развитой, менее культурной части революционных масс (это так сказать, ранний, «народный» сталинизм). Суть второй ступени эволюции — в изменении его социальной опоры и идейной окраски: «народный» сталинизм превращается в «бюрократический» (то есть антинародный), а волюнтаристские идейные тенденции — в идеологию культа личности, которая в окружении бюрократической элиты представляется единственным творцом истории. (Заметим — в скобках, потому что это тема особого разговора,— что переход от «народного» к «бюрократическому» сталинизму в 30-е годы был непростым и страшно болезненным процессом. Объективный смысл и логика кровавых репрессий 30-х годов, я думаю, пока не разгаданы нашей наукой. Пишут о расправе над «ленинской гвардией» — делегатами XVII съезда партии. Но ведь подавляющее большинство делегатов этого съезда стали заметными политическими фигурами лишь после смерти Ленина, при Сталине и «под Сталиным» (то есть, как правило, благодаря Сталину). Основные силы «ленинской гвардии» утратили свое влияние уже к концу 20-х годов. «Заметки экономиста» Бухарина (1928) и манифест Рютина (1932) были, пожалуй, последними крупными, заметными попытками повернуть партию и страну на подлинно ленинские рельсы. Иногда в репрессиях 30-х годов видят логику действий преступной политической мафии — расправляются сначала со своими противниками, конкурентами, а затем, дабы спрятать концы в воду, и с их палачами, членами своей мафии, знавшими слишком много. Это, возможно, объясняет некоторые



отдельные случаи — уничтожение Ягоды, Ежова и их сообщников, но дать нить понимания, схватить логику событий всего десятилетия эта узкая точка зрения не в состоянии. Иногда поэтому говорят, что там не было никакой логики — неуправляемый процесс кровавой бойни. Не думаю. Мне представляется, что основным, не осознаваемым хорошо самими участниками содержанием борьбы и репрессий 30-х годов было противоборство «бюрократического» и «народного» сталинизма. Первый представляли деятели типа Кагановича, Молотова, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Берии, Вышинского, Ульриха. Второй — Киров, Орджоникидзе, Куйбышев, Постышев, Косарев, Косиор. Триста голосов против Сталина на XVII съезде — это, я думаю, отражение нараставшего протеста народных масс против укрепляющейся монополии власти бюрократической элиты.)

Любопытно, что «народный» сталинизм, разгромленный в 30-е годы в высших партийных и государственных эшелонах, продолжал тем не менее жить в определенных слоях народа. Для него характерной оставалась острая антибюрократическая направленность. Мечты части простого народа в период брежневщины о сильном вожде, напоминающем Сталина, — это мечты о силе, которая смогла бы защитить простых людей от абсолютной власти бюрократии. Видеть различие двух видов сталинизма очень важно. «Народный» сталинизм в отличие от «бюрократического» преодолевается терпеливым просвещением, развитием гласности и демократических начал, в рамках которых эти люди получают возможность осознать свою собственную силу, вполне достаточную, чтобы самим ликвидировать бюрократию, не уповая на мифическую силу какой-либо могучей личности. С этими людьми ленинские, демократические силы могут и должны найти контакт и взаимопонимание.

Таковы, на наш взгляд, сущность и корни сталинизма.

А отсюда и вывод, касающийся путей его преодоления. Не диалектика, не марксистский материализм плохи, не в них семена сталинизма, не их, следовательно, надо уничтожать, беда — в их

вульгаризации и искажении. Обрыв золотой нити социального прогресса произошел не тогда, когда возник диалектический материализм, не тогда, когда Ленин на его основе вычерчивал маршруты прогресса в XX столетии, не в период Октября. Не там обрыв, не там определилась дорога, бегущая в пропасть. Обрыв произошел позднее — в конце 20-х годов, там, где ленинизм стал подменяться волюнтаризмом, а идея народоправия культом Вождя. Поэтому я считаю, что люди, желающие способствовать делу человеческого прогресса, должны размышлять не над тем, как «переиграть» Октябрь, а над тем, как «переиграть» 1929-й и 1937-й годы, опираясь на ценности Октября. Разумеется, «переиграть» не буквально — историю не вернешь! «Переиграть» — сегодня, ибо ни 1929-й, ни 1937-й годы — годы торжества бюрократии — отнюдь не невозможная вещь в конце XX столетия. Вот почему влечет нас к пониманию истории отнюдь не только и не сугубо исторический интерес.

А важнейший элемент этого понимания и состоит в том, что ленинизм — не исток сталинизма, а наиболее сильное орудие борьбы с ним. Ибо ленинизм — это учение, выдвигающее задачи, решение которых и ведет к разрушению главнейших опор, фундамента бюрократической системы. Ленинизм выступает за развитие экономических (а не административно-командных) связей в народном хозяйстве страны, за принцип распределения по труду, запрещающий создание нетрудовых, кастовых, бюрократических привилегий, за превращение работника в действительного, реального хозяина — через механизм самого широчайшего плюрализма и демократизма. И, кроме того, ленинизм не только идейно, программно противостоит сталинизму, но и способен практически, политически победить его. Да, в конце 20-х годов сталинизм взял верх над ленинизмом. Но такой исход сражения вовсе не был предопределен фатально. Ленинские (то есть демократические) силы в партии и народе не «в принципе» «не могли» победить, они не смогли, они просто не сумели победить. Они не смогли выработать хорошо выверенных стратегических планов, определить верную тактику. У них не оказалось сильных и

талантливых полководцев; их лидеры допускали грубейшие ошибки в борьбе, и главная среди них — попытка остановить развитие казарменно-коммунистических, бюрократических, административно-командных тенденций (выражавшихся в первые годы после смерти Ленина в планах Троцкого — Преображенского) бюрократическими же, административно-командными методами. Зиновьев, Каменев и многие другие, возглавлявшие борьбу с идеями троцкистского варианта административно-командной системы, заботились не столько о демократическом соревновании программ и идей, не столько об убедительности и развернутости аргументов, сколько о том, чтобы любыми способами скомпрометировать Троцкого как личность. Они фактически лишили Троцкого и его единомышленников возможностей открыто перед всей партией и народом излагать свои взгляды, критиковали его грубо и (за исключением разве что Бухарина), не слишком заботясь о доказательности, извлекали на свет божий ленинские характеристики Троцкого, данные давно, в частных письмах и не имеющие никакого отношения к современной полемике. При обсуждении в высоких инстанциях формировали группы лиц, которые устраивали сторонникам Троцкого обструкцию, не давали говорить, постоянно перебивали их с места грубыми выкриками, требовали «покаяний», «разоружения», «встать перед партией (читай — перед ее руководящей группой) на колени». В этой недемократически ведущейся борьбе с идеями административно-командной системы Троцкого они сами реально, на практике формировали эту систему. Бюрократические идеи нельзя победить с помощью административного, бюрократического насилия. Средства не безразличны к цели, к результату. Негодные средства, применяемые даже во имя «хорошей» цели, с необходимостью дадут негодный результат.

На этом же тридцать лет спустя споткнулся Хрущев, пытаясь покончить со сталинизмом и бюрократизмом бюрократическими же методами. Он — в особенности во второй половине своего «славного десятилетия» — не способствовал развертыванию общественных механизмов демократии, а свертывал их, он видел в

себе, в своей личности гарантию против возврата к сталинизму. И не понимал, что одна личность, даже на посту руководителя партии, не в состоянии определить направление и исход исторических битв. Он не понимал, что XX съезд, демократическое половодье 1956—1961 годов не есть результат его индивидуальной деятельности (хотя, конечно, его личной политической смелости 1956 года следует воздать должное!), что он лишь помог приоткрыть клапаны накопившейся и готовой выйти наружу мощной народной антисталинской энергии. Он сам (и окружавшие его подхалимы) слишком переоценил роль, которую он играл в начавшемся процессе, он слишком переоценил себя. Более того, когда события стали опережать его личные политические возможности, его кругозор, его сложившееся в сталинские годы кредо, он не сумел способствовать тому, чтобы ход событий и демократические механизмы выявили людей — наверху и на местах,— способных двигать перестройку 50-х годов дальше. Он стал — и объективно, и субъективно — тормозить процесс, начало которого во многом было связано с его именем. Вспомним, как заговорил он с творческой интеллигенцией — писателями, художниками, журналистами, как начал единолично определять, кто будет президентом, секретарем ЦК и т. д. Не случайно вновь всякие лысенки пошли при нем в гору, не случайно при нем поднимались к вершинам власти неосталинисты Суслев и Брежнев. Он — во многом сам того не ведая — формировал административно-командную, неосталинистскую («нео» — ибо без массовых кровавых репрессий) систему, которая начала глушить демократические процессы и безропотной жертвой которой он и сам стал вскоре.

Мы не должны третий раз — сегодня — споткнуться на том же самом месте. Все должны знать обо всем, все должны принимать участие во всем — вот ленинский принцип, единственно верный метр, которым можно мерить уровень (да и само наличие) демократии в обществе. Нет, нам не фатально суждено жить под гнетом сталинизма и бюрократии, просто нам не всегда доставало понимания смысла нашей борьбы.

И еще одно пояснение во избежание недоразумений. Мы сказали: сталинизм — диктатура бюрократии. А как насчет социализма в нашей стране — был ли, не был?

Одни говорят: не был! Какой-де это социализм, когда крестьянство без паспортов, не распоряжается тем, что производит, когда миллионы — в лагерях, на рабском труде, когда собственность — как бы «ничейная» и бюрократия — всемогуща.

Другие, понимая серьезность этих аргументов, тем не менее не могут принять категорически отрицательный вывод. С одной стороны, его принятие сопряжено с невероятной потерей исторических ориентиров и координат — возникает просто какой-то обвал мысли и истории. С другой стороны, все же не абсолютно темна была наша история — и неподдельный энтузиазм масс был, и от неграмотности страну освободили, и определенный экономический потенциал создали, и войну — что там ни говори — выиграли, да и потом были ведь и не сталинские периоды в нашей истории. И потому они ищут определений, в которых нашли бы отражение и те, и другие стороны этого противоречивого явления. Предлагают называть его «социализмом» с различного рода добавлениями: «бюрократический», «государственный», «авторитарный», «деформированный» и т. п. Возникают в итоге определения, разрушающие сами себя. «Бюрократический» (то есть не демократический) социализм — это же не социализм, это все равно, что «горячий лед» или «холодный огонь».

Где же выход? Мне не хотелось бы здесь и сегодня углубляться в эту материю. Обозначу только опорные моменты своего подхода.

Первый тезис: сталинизм — это, конечно же, не социализм.

И второй. История нашей страны не сводится к истории сталинизма. Ее содержание — борьба двух тенденций {бюрократически-тоталитарной и демократически-социалистической), и потому реальное состояние нашего общества всегда было результатом их борьбы (результатом, который невозможно выразить в категориях и понятиях только одной из этих тенденций). К тому же, как уже отмечалось, сталинизм не во

все периоды был господствующей тенденцией в нашей жизни. Демократически-социалистические (ленинские) начала были особенно сильны в 1917 —1929 годах, 1941 —1945 годах (патриотический подъем военных лет, прямое чувство ответственности каждого за судьбу страны породили и определенные процессы десталинизации социальной жизни), 1953—1964 годах, 1985 году. Это несколько десятков лет. Немало!

Ну и все же, спросит читатель, как все-таки вы определите результаты этой борьбы двух тенденций в нашем обществе, к какому из названных выше лагерей публицистов вы ближе — к первому или ко второму. Я — сам по себе. Мне думается, мы имели дело с социальным феноменом, для точного определения которого в нашей классической теории нет подходящих терминов. Суть этого феномена по-настоящему не улавливается имеющимися теоретическими формулировками, их употреблением, будь то в позитивном или негативном смысле. Мы вступили в социальный мир несколько иного типа, чем тот, в котором жили Маркс и Ленин, разработавшие категориальную структуру нашего социального мышления. Образно говоря, из ньютоновского социального мира мы вступили в эйнштейновский. И потому я за то, чтобы изучать новые социальные реальности — и у нас, и во всех других странах мира — по существу, не торопясь наклеивать на них обобщающую итоговую этикетку. Давайте опишем — глубоко и правдиво — реальную картину общественных отношений в странах современного мира. А итоговые этикетки потом изобретем. Термин, дефиниция не должны предварять конкретный анализ, они должны быть его результатом. Не стоит ли поэтому на какое-то время ввести мораторий на употребление ряда обобщенных социально-политических понятий, дабы груз их прошлого содержания не тянул назад нашу общественную науку, не мешал непредубежденному анализу того, что есть.

И самое последнее. Да, я считаю, что учение Маркса и Ленина, творчески развиваемое применительно к сегодняшним условиям, является главным и наиболее совершенным инструментом борьбы

против всех форм и разновидностей сталинизма. Эту свою позицию я буду защищать.

И все же для меня та или другая доктрина — не самоцель, Главное — отстаивание и практическая деятельность по осуществлению гуманистической и демократической альтернативы общественного развития. И если кто-то пришел к пониманию важности этой задачи через Ганди, Толстого, Бердяева, Улофа Пальме, буддизм, православие и т. п., — это, мне кажется, не должно вызывать огорчения у ленинцев. В конце концов, может быть, именно такое массовое, многообразное, действительно плюралистическое движение с разных сторон к одной и той же цели — может, только оно-то и способно обеспечить ее достижение. И, может быть, от умения этих многоликих демократических сил найти пути друг к другу, создать атмосферу взаимной уважительности и доверия, демократического сотрудничества и зависит, каким — неосталинистским или подлинно свободным — будет новое общество.

Да, для меня, скажу еще раз в заключение, «ленинизм» тождествен с самой широкой демократией, всечеловеческим гуманизмом и максимальной свободой. Но если я встречу человека, несогласного с этим отождествлением, но, тем не менее выступающего, подобно Гроссману против сталинизма и за демократическое народоправие, я скажу ему: «Название — дело десятое! Руку, товарищ!»

Ссылки:

Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 34, с.262

Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 36, с.66, с. 295, с. 303, с. 296, с. 301

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 3, с. 4; т. 4, с. 138

Ленин В.И. Полн.собр.соч., т. 45, с. 364

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 8, с. 209, с. 208

О подробностях этой борьбы – см. нашу статью «Выбор истории и история альтернатив. (Бухарин против Троцкого)». «Проблемы мира и социализма», 1988, № 10